

Н.Л. Пушкарева

ГЕНДЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

1. Общение как деятельность и теория гендерлектов

«Речевое общение – как письменное, так и устное – есть деятельность». Это утверждение, с которого начиналась работа Джеймса Остина «Слово как действие» заложило основу теории речевых актов, которая стала толчком к размышлениям языковедов над вопросом о взаимосвязи пола, общественных экспектаций и речевого поведения – как запечатленного в различных текстах, так и невербального¹.

Этой теме посвящены десятки работ современных лингвистов, философов и психоаналитиков, в том числе книга Робин Лакоф «Язык и место женщины»². Она в буквальном смысле «открыла глаза» сторонницам *women's studies* в коммуникативной лингвистике, так как в центре внимания исследовательницы оказалось рассмотрение общих вопросов отражения социального статуса женщин в языке. Р. Лакоф пришла к выводу, что в европейских языках женщины отображены, как правило, негативно (фольклор – лучшее тому доказательство, полагала она), присутствуют в качестве объекта, а не субъекта, а их речевое поведение – и в прошлом, и в настоящем – характеризуется большей неуверенностью, чем мужское, и в то же время гуманностью, ориентированностью на собеседника, и потому менее агрессивно. Все это, полагала исследовательница, есть следствие устоявшегося в европейских обществах стереотипа женственности, понимаемой как «мягкость», «уступчивость», «покорность». Письменную речь женщин, по мнению Р. Лакоф, также отличали во все времена нежелание навязывать свою точку зрения, описательность, компромиссность, что создавало у читателей (причем не зависимо от пола) впечатление неуверенности пишущей в излагаемых ею мыслях, некомпетентности ее в оценках и в конечном счете наносило ущерб имиджу женщины. Напротив, женщины, говорящие и пишущие в мужском стиле, т.е. умеющие настаивать на обсуждении той темы, которая их волнует, в устной речи склонные перебивать собеседника, использовать формы повелительного наклонения, воспринимались обществом как «неженственные», а носительницы этих форм – как мужеподобные. Эту ситуацию Р. Лакоф назвала положением «двойной связанности» женщин-носительниц языка.

Идеи Р. Лакоф получили огромную популярность в среде женщин-гуманитариев и, конечно, не только лингвистов. Общей настрой того времени требовал акцентации различных форм неравноправия женщин. А где, казалось бы, более «спрятано» женское неравноправие, как не в структуре и содержании повседневной речи! Потому-то в то время немецкая лингвистка Сента Трёмель-Плётц и создала теорию «дефицитности», т.е. нехватки уверенности, доминантности, агрессивности и иных «мужских» качеств, в женской устной и письменной речи³. Концепцию этой исследовательницы (и саму теорию дефицитности) оспорили в 1990-е годы Ю. Самель и Б. Барон, настаивавшие на истинности не *дефицитности* женской речи, а *дифференции* мужского и женского вербального поведения, на существовании в каждом из них особых черт, не позволяющих свести одну речевую практику к другой⁴.

Теория дифференции мужского и женского языков породила концепцию «гендерлектов» (по аналогии с диалектами – мужского и женского языков) и соответственно «двух культур» – мужской и женской. Рождение ее не случайно совпало с появлением теории гендера в социологии и ее триумфальным шествием по всем гуманитарным дисциплинам мира⁵. Сторонники концепции двух культур (Д. Малтц, Р. Боркер)⁶ призывали исследователей сосредоточить внимание не на «механизмах подавления и угнетения женщин через язык» (что вообще типично для феминистской лингвистики и

ее склонности гиперболизировать проблему), а на коммуникативных неудачах, постигающих мужчин и женщин в смешанных группах или, скажем, при чтении «женской литературы» мужчинами и «мужских текстов» женщинами⁷.

Сторонников теории двух культур очень сближала с гендеристами идея о том, что не природный биологический пол, а принятые в обществе практики речевого поведения, усваиваемые мужчинами и женщинами в процессе социализации, служат предпосылкой взаимного понимания или непонимания последних. Язык мужчин и женщин, по мнению приверженцев гендерной лингвистики, культурно предопределен: он основан на традиционном распределении ролей между мужчинами и женщинами, которое хранится в памяти старшего поколения и передается молодежи. Представления о женственности и мужественности уже «по умолчанию» включают в себя определенные предписания, которые надьиндивидуальны и создаются обществом⁸.

По данным Е.А. Земской, М.В. Китайгородской и Н.Н. Розановой, женская речь по сравнению с мужской содержит больше эмоциональных оценок, сравнений, гиперболов, включает частое переключение на не связанную с ситуацией общения тематику. Женщины реже, чем мужчины, поучают собеседника (поучительные сентенции создают статус превосходства), с готовностью объясняют свои успехи не своими способностями, талантом, умом, а счастливо сложившимися обстоятельствами. Характерная черта мужской речи – более сильное влияние таких факторов, как профессия, секс⁹. Те же проявления социальных ролей мужчин и женщин в русском языке наблюдают и западные исследователи¹⁰. Маскулинная лексика, по словам лингвистов¹¹, представлена использованием архаизмов и просторечий («ежели», «дабы») и иностранных терминологических заимствований, а женская – эвфемизмами, эмоциональными сравнениями, вводными словами (все это средства самозащиты) и словами смятющего характера, позволяющими избежать категоричности высказывания. «Мужские» тексты короче «женских» (как и отдельные предложения), менее динамичны и более предметны, в них меньше эмоциональных и сенсорных оценок. Женщины чаще мужчин пользуются инверсией в порядке слов, чаще употребляют восклицательные и вопросительные предложения, в целом более грамотно пишут¹².

В свете сказанного выше вполне ясно, почему лингвисты, занимающиеся проблемами гендера, поставили перед историками следующие вопросы. Если любому обществу присуща своя гендерная семиотика, то всегда ли, во все ли эпохи система знаков (включая язык) не только создавала непонимание между полами, но и подавляла, депривировала, дискриминировала женщин и, скажем, гомосексуалистов? Как создавались в разные времена гендерные языковые клише, ведь они функционируют буквально как самосбывающиеся пророчества и способствуют дальнейшей гендерной типизации? Как ритуализировался выбор тематики и лексики – мужской и женской – в зависимости от социального статуса представителя (или представительницы) того или иного пола?

Перед историками, как и перед социологами, встал также ряд вопросов, связанных с репрезентацией пола. Среди них, например, такой: как ситуативно ритуализируется и ритуализировалось раньше «говорение» (когда допускалось женское «право голоса», а когда нет, т.е. как действовало само право говорить, в том числе публиковать свои мысли, а когда и как это запрещалось)? Какова была корреляция между гендерной спецификой речевого поведения (подчеркнем еще раз: и устного, и письменного) и образованностью? (В современном обществе, как выяснили социолингвисты, чем выше образовательный уровень говорящих, тем меньше различий в речи мужчин и женщин¹³.)

Поставленные выше вопросы вышли за рамки лингвистики, социолингвистики и литературоведения, культурной и социальной истории. Их существенное и сущностное значение оказалось важным для многих областей гуманитарного знания, в том числе (и особенно) для философии и психоанализа. Не случайно поэтому «местом встречи» различных гуманитарных теорий стал деконструктивизм, обобщивший различные методы поиска противоречий мышления.

Если французский мыслитель Мишель Фуко доказал сам факт высокой значимости пола в европейской культуре, равно как зависимость репрезентаций пола от дискурсивных практик (т.е. способов «говорения», включающих оценочность и имеющих иерархию), то его соотечественник и младший современник Жак Деррида призвал научиться распознавать эту зависимость с помощью деконструкции¹⁴. Деконструкция, писал он, есть анализ текстовых элементов, смысловых оборотов, впитавших в себя «дух» социокультурной системы с целью понять некое «трансцендентальное означаемое» (термин автора), некий «центр» и смысл текста (даже самого на первый взгляд бессмысленного, «ненаправленного», странного, образующего поток сознания и т.п.). Это, считал ученый, необходимо для «очищения» мышления исследователя, познавшего власть языка.

Для осуществления этой задачи Ж. Деррида ввел понятие «письма» – не как графики текста, а как сочетания «голоса, молчания и "шумов"» (т.е. не относящихся к содержанию и, казалось бы, отвлекающих моментов. – Н.П.) при воспроизведении в нарративе мыслей и устной речи. Из введенного Ж. Дерридой понятия письма вытекало парадоксальное утверждение о «смерти Автора» в тексте (в том числе историческом источнике), поскольку автор, по утверждению Ж. Дерриды, не только создает, но и сам «пишется» текстом, так что последний порождает новые, неожиданные для самого автора смыслы, обнажает бессознательное и ментальное у каждого из пишущих индивидов¹⁵.

2. Феномен «женского письма»

Философы-феминистки Юлия Кристева, Хелен Сиксу, Люс Ирригари, т.е. ведущие представительницы феминистской постструктуралистской критики, занялись деконструкцией текстов в заданном Ж. Дерридой направлении. Проанализировав нарративы из разных областей знания – истории, философии, права, литературы и т.д., они показали, что в любой культуре на уровне ментальных установок формируется образ женщины как чего-то «иного», «другого», «вторичного», «маргинального», т.е. «отклонения». Именно они заострили внимание на том, что «доказательства» существования неких эссенциальных особенностей женского устного и письменного языка (т.е. мнение о том, что он якобы всегда более «эмоциональный», более «восприимчивый», более «открытый в воспроизведении чувств», чем мужской) инспирированы ничем иным, как идеологией¹⁶.

Вслед за Ж. Дерридой Ю. Кристева, Х. Сиксу и Л. Ирригари развили понятие *женского письма* (*l'écriture féminine*), под которым подразумевают не нечто общее, присущее всем женщинам при их «говорении» (как письменном, так и устном), а некие особенности саморепрезентации по так называемому женскому типу. Биологический пол – лишь предпосылка использования женского письма (т.е. были и есть, считает Ю. Кристева, женщины, саморепрезентирующиеся по мужскому типу, и были и есть мужчины, могущие выразить себя по типу женскому).

Женское письмо предполагает, по Ю. Кристевой, умение прорваться к собственному «Я» через шаблоны и стереотипы. «Провозглашаемая феминистской критикой «инаковость», «другость», «чуждость» женщины традиционной культуре как культуре идеологически мужской, – писала Ю. Кристева, – приобретает характер подчеркнута специфического феномена... Под *женщиной* понимается то, о чем не говорится...»¹⁷ (курсив мой. – Н.П.).

Несколько иначе представили ситуацию Х. Сиксу и Л. Ирригари, хотя они тоже не раз говорили о невозможности существования женщины в имеющейся культуре, поскольку «говорение» на мужском языке оборачивается для нее «законом смерти»¹⁸. Как научить женщин говорить именно «по-женски»? Ответ на этот вопрос содержится в известнейшей статье Х. Сиксу «Хохот Медузы». Исследовательница сформулировала манифест, суть которого – призыв женщин «к перу», к постоянному самовыражению. В парадоксальном противоречии с Ж. Дерридой, рассуждавшим о «смерти

Автора» в тексте, Х. Сиксу (считающая себя ученицей и его тоже, но прежде всего М. Фуко) обратила к женщинам страстный призыв, отрицающий это «умирание»: «Почему вы не пишете? Пишите! Письмо для вас, вы для вас; ваши тела – ваши, берите их!.. Пишите себя... Только так могут проявиться богатейшие способности подсознания»¹⁹.

В понимании Х. Сиксу и Л. Ирригари женское письмо есть способность индивида (в первую очередь женщины) преодолеть порожденные языком стереотипы и каноны и открыто выражать свои чувства (т.е. либо «вернуться в тело» – *return to your body*, как бы «впасть в детство», когда мы не были разъединены с нашими телами, либо «писать свое тело» – *write your body*, причем понятие «тело» здесь толкуется, разумеется, очень широко – это вся гамма эмоциональных переживаний).

Иными словами, женское письмо было объявлено «местом, в котором женщина обретает себя» – как в настоящем, так и в прошлом. Историки-феминологи, работающие со свидетельствами утраченной реальности, подтвердили, что через язык женщина была «изгнана» из текстов, составлявшихся мужчинами. Сторонницы «гендерной истории» призвали вернуть ее обратно опять же через язык – изучая особенности женского письма (более аффектированного, «нескрываемо субъективного», с обозначенным и выраженным «телесным желанием» – как всякого письма «Другого», маргинального в культуре) и сравнивая его с письмом мужским (выражающим, как считали Х. Сиксу и Л. Ирригари, имманентно присущее мужчине – в силу того, что оно ему «дается» обществом – право на привилегии и на выбор).

Продолжая исследования в области коммуникативной лингвистики и используя «наработки» своих предшественников в этой области, исследователи женского письма, работавшие в 1990-е годы, более или менее определились с набором характеристик, отличающих женское письмо от мужского. И хотя различия в речи мужчин и женщин (в том числе в речи письменной, которая нас интересует в данный момент более всего) носят вероятностный и историчный характер, все же стоит перечислить наиболее очевидные из них.

На первом месте стоит стремление женщин использовать «престижные» (ориентированные на литературную норму) формы речи, в то время как записи мужчины в литературном отношении могут быть куда более небрежными²⁰. Стремление к «правильности», «престижности» речи – следствие более ясного осознания женщинами ожидаемого от них социального поведения (потому и экспрессивные выражения в их литературных записях, сделанных женщинами, менее органичны, буквально «кричат» о себе). Напротив, мужчина может быть часто ориентирован на так называемый скрытый социальный престиж (тот самый, который дает повод для гордости мужчине-изменнику в глазах сослуживцев), поэтому и речь мужчин часто бывает скрыто ориентирована на отклонение от общепризнанной нормы²¹.

3. Феномен «женского чтения» и задачи исследования текстов, написанных женщинами

Прежде чем сформулировать задачи исследования женского письма с точки зрения подходов современной деконструктивистской мысли (и одновременно определить феномен «женского чтения»), стоит подчеркнуть еще раз, что и Х. Сиксу, и Л. Ирригари никогда не утверждали, что любой текст, написанный женщиной, – это уже женское письмо. «Тот факт, что начиная с XVIII в. число пишущих женщин увеличивается, – ничего не меняет, – подчеркивала Х. Сиксу. – Подавляющее большинство женщин пишет по мужским правилам, которые воспроизводят классическое представление о них». Как же вырваться за пределы этих мужских правил, как сделать свой текст действительно «подрывным»? Не бояться выражать себя, отвергнув все стандарты, «творить без моделей, образцов и примеров, не задавать самим себе приказов, указаний и запретов, не указывать, не морализировать, не воевать друг с другом, не хотеть быть правыми, быть тем – чем ты есть, не цепляясь за то, чем ты

могла бы быть, могла бы...». Такую перспективу рисует перед исследовательницей (или исследователем), желающей (или желающим) «писать себя», Л. Ирригари в публицистической статье «Когда наши губы говорят сомкнутыми»²².

Женское письмо, повторим еще раз, это текст, написанный лишь чаще всего женщиной. Отличительная его черта – отход от моделей и стандартов. Процесс обретения гендерной идентичности (*doing gender*) у каждого человека свой, как бы ни влияли на него превосходящие обстоятельства²³. Так что, если ученый или просто читатель (какого бы пола он ни был), поразмышляв над каким-либо нарративом (устным или печатным), создает свой текст, свое исследование, он неизбежно сам *творится* текстом, обнаруживает себя, или, как говорят психологи, «проецируется». Именно поэтому, изучая любой текст, в том числе и женское письмо, мы тем самым можем изучать и читаемое «на поверхности», и подразумеваемое (порой невольно) автором, в том числе и процесс его «*doing gender*», и одновременно – это очень важно! – самих себя.

Американский литературовед Аннет Коллодны, открывшая феномен «женского чтения», утверждает, что большинство женщин (о мужчинах и говорить нечего!) читают не как женщины, а как представители «господствующего пола», т.е. мужчины. Поскольку в женщину всегда старались «вколотить» мужской взгляд на мир, поэтому во взаимоотношениях с текстом она отождествляет себя с проблемами героя и с мужским опытом, который заданно представлен как общечеловеческий²⁴.

Возможно ли *выйти за пределы традиционно мужского восприятия*? Да, если переместить *внимание с центра на периферийное поле фактов и смыслов* (т.е. при чтении исторических источников видеть, например, не столько очевидно-событийное, сколько пытаться раскопать то, что создавало *milieu*, среду для него, «не верить» автору текста, перепроверять его постоянно другими нарративами – и не просто другими, а характеризующими интимную, внутреннюю жизнь автора изучаемого нарратива; пользуясь удачным сравнением российского философа В. Подороги, надо стараться реконструировать нарратора как «человека без кожи», акоммуникативного, только *ощущаемого* нами).

Справедливо задать вопрос: почему же такой подход есть именно женское чтение? Ответ на этот вопрос можно найти все у той же Х. Сиксу: «Женское воображение неистощимо, как живопись, музыка, письмо»²⁵: без воображения мы не в силах представить *ощущаемого* автора текста. Читая «по-женски», мы всю включаем воображение и должны бережно относиться к нашему индивидуальному впечатлению от текста в целом, не «рвать» его на части аналитическими процедурами, а нежнейшим образом сохранять ритм «легкого дыхания» (воспользуемся этим буниным выражением из «Темных аллей») от прочтения нарратива – света и радости или горечи утраты, осквернения чистоты и невинности или тошнотворности подробностей пыток, короче – заставить себя «телесно видеть», эмпатически переживать чужое как свое. Кто же будет спорить, что женщине это удастся лучше, чем мужчине?

Женское чтение – это (если следовать за логикой феминисток-деконструктивисток) чтение исследователя, постоянно проблематизирующего темы «состояний тела» и связанных с ними переживаний нарратора, причем таких состояний, которые мужчинам не близки, например, тематически (менструации, лишение девственности и замужество, беременность, роды) либо непопулярны в мужском дискурсе (зависть, удовольствие от принятия мук, в том числе, скажем, любовных)²⁶.

Нас интересуют также – если мы хотим попробовать читать «новыми глазами» исторические и иные тексты – «методики альтернативного чтения»²⁷, т.е. методики *выявления того латентного «подрывного», что присутствует в женских текстах*, иными словами – желание и умение слушать и слышать не только явный голос нарратора, но и его потаенный голос, которым он «*говорит себя*» и «*проговаривается*».

Перед нами стоит еще одна задача: *исследовать пути трансляции в письменную форму самосознания и самоосознания женщины* (т.е. женской идентичности) и особен-

ности этой трансляции в разные исторические эпохи²⁸. Как известно, американская феминистка, философ Дж. Батлер, активная постструктуралистка и деконструктивистка, предложила новое определение пола: *пол – это репрезентация* (т.е. отображение образа жизни, который демонстрируется окружающим)²⁹. Гендерная концепция (стереотипы, нормы, идентичность, о которых мы говорили вчера) позволяет историкам ставить вопрос о том, как репрезентировалась принадлежность к женскому или иному полу в разные эпохи как в языке, так и в невербальных практиках.

В прямой связи с этой задачей стоит вопрос *об осознании женщинами-авторами степени своей «инаковости»*, понимания расщепленности своего «Эго» (желания выразить свое, женское и необходимости соответствовать мужским социально-культурным стереотипам). Как осуществляется самонадзор, самообеспечение порядка и как женщина-автор вырывается из этих пут, намечая путь к самой себе? В каком возрасте образованная и пишущая женщина, способная к рефлексии, реализовывала в прошлом свое умение говорить «нет» общепринятому и общезначимому? (Ведь и тогда, и сейчас желанием порвать со стереотипами руководило не простое стремление смены иерархий (не стремление сместить мужское «Я» на периферию)³⁰, а вдохновляющая идея прорыва в новое мыслительное, лингвистическое, культурологическое пространство, где нет жестких предписаний типов поведения.)

Необычайно важная задача при изучении женского письма – *сопоставление мужского и женского «Я» в том виде, в каком они отражались в господствующей культуре* (т.е. изучение тех чувств и ощущений, которые якобы должны испытывать в те или иные жизненные моменты мужчины и женщины), *с подлинными*, гендерно-аутентичными, «раскопанными» (термин М. Фуко) нами как исследователями. Постановка и решение данной задачи особенно важны, потому что способны помочь в преодолении «непониманий» и «нестыковок» двух языков (мужского и женского) и воистину «сделать всех мужчин нашими... сестрами»³¹.

4. Мемуары и автобиографии женщин как исследовательский «полигон» при изучении женского письма

Самым удобным исследовательским полем для «археологии личности» оказались, как это легко понять, биографии индивидов (у социологов) и автобиографии (у психологов и педагогов), а в феминологии соответственно женские *ego*-документы, включающие помимо «собственноручных» жизнеописаний мемуары, письма, дневники и устные женские рассказы о тех или иных переживаниях.

Историки многое позаимствовали за последнее время у сопредельных истории наук в плане методов и подходов к анализу женских *ego*-документов. В условиях «лингвистического поворота» они изменили свое отношение к источникам личного происхождения. В них они ищут теперь не затекстовую реальность, не «малоизвестные факты об известных событиях, писателях или деятелях отечественной культуры»³², а внутритекстовую единичность видения мира и словоупотребления конкретным индивидом.

В чем значение подобного «раскапывания» и реконструкции жизни отдельной личности для историка? Его значение – в попытках понять и оценить самих себя. Сравнительная и сопоставляя, мы подчас бессознательно стремимся «вписать себя в историю». И это та самая история, воссоздавая которую, исследователи десятилетиями (если не столетиями) пытались сохранить пресловутую объективность (положение «над схваткой») и неоднократно критиковали источники личного происхождения за субъективную ограниченность, а следовательно, и нерепрезентативность. Гуманизация науки, отказ от попыток сконструировать отвлеченные схемы и сверхуниверсальные концепции – а такова научная парадигма последних десятилетий – заставили исследователей признать неповторимость и самоценность каждого человека.

Биографический и автобиографический методы были объявлены, по словам петербургского социолога феминистской ориентации Елены Здравомысловой, «методологическим символом гуманистической науки, ориентированной на понимание и

культурный диалог между обществами»³³. Мировое историческое знание, повернувшееся (вслед за первооткрывателями «исторической антропологии» – французской Школой Анналов) лицом к Человеку прошлого с его столь похожими на наши (и все же столь отличными от них) страстями и переживаниями, ныне немислимо без попыток реконструировать мир ощущаемого и воображаемого у людей ушедших столетий. Голоса их порой совсем тихи. Особенно если это голоса женщин далеких столетий...

XVIII в. – особое время в женской истории России³⁴. Именно в это время межличностные отношения стали обретать независимость от связей родства и клановых определений. Возникло «Я», для которого самоидентичность оказалась проблематизирована, и это возникшее «Я» стало осмысливать себя в терминах автобиографии. В отличие от мировой и европейской культурной истории, богатой авторизованными жизнеописаниями XIV–XV и даже более ранних веков³⁵, история русской литературы не может ими похвастаться. Первым русским произведением, которое с известным допущением может быть отнесено к автобиографическому жанру, считается «Житие» протопопа Аввакума, написанное в середине – второй половине XVII в.

Что и говорить о женщинах! Их образы, черты их характеров в средневековом прошлом России расплывчаты и смутны: русская история не знает до середины XVIII в. ни одной автобиографии, написанной представительницей прекрасного пола. И потому специалистам по русскому средневековью необходимо приложить недюжинные усилия, чтобы заставить женщин «стать видимыми», а затем и заговорить³⁶. XVIII в. в мировой и русской истории культуры пробудил внимание к интимным (в широком понимании этого термина) внутренним переживаниям человека.

На развитие автобиографического жанра в мировом литературном процессе, несомненно, повлияла публикация «Исповеди» Жан-Жака Руссо – идейного предтечи и вдохновителя антропологического мышления. Его сочинение, имеющее, как и все автобиографии, информационную (документальную), литературную, психологическую и иные составляющие, не оставило равнодушными не только образованных современников, но и современниц. Готовность этого выдающегося мыслителя к психологическому обнажению спровоцировала взрыв увлечения исповедальным жанром, открыв путь от одного сердца к другому. «Автобиография как документ души и источник представлений человека о себе самом прочно заняла свое место между литературным произведением и строгим документом, между вымыслом и историей», если понимать последнюю традиционно – как описание реально случившихся событий и процессов³⁷.

Определение автобиографии как чего-то «пограничного» между историей и литературой (которое воспроизводится с завидным постоянством в научных исследованиях) берет начало в нашей историографии в сочинениях «неистового Виссариона» (В.Г. Белинского). И с тех пор автобиографии вообще и женские в особенности оставались практически... маргинальными и для истории, и для литературы. Историки то и дело высказывали сомнения в том, *можно ли доверять* фактам, сообщенным в автобиографии (поскольку они писались заинтересованным лицом); литературоведы же все время доказывали «законорожденность» автобиографий как жанра литературного и их право присутствовать в приличном обществе прочих узаконенных литературных жанров. Вторым показателем маргинальности женских автобиографий можно назвать тот факт, что, будучи созданными женщинами, они считались, очевидно, «второсортными» историками и исследователями литературы в силу тех тем и проблем (очень домашних, очень личных, очень «телесных» и т.д.), которые в них преобладали, т.е. они были, очевидно, «худшими» по сравнению с мемуарами мужскими, бывшими «литературно-документальными источниками» в системе «патриархальной» критики. Два указанных показателя маргинальности женских автобиографических текстов («пограничность» и «второсортность» по сравнению с мужскими) породили третью позицию маргинальности: женские автобиографии – ни раннего времени, ни XX в. – специально не изучались и уж тем более не изучались как «женские тексты». «В русской автобиографической традиции, заметно озабоченной социальными и политическими проблемами, – писала выдающаяся американская славистка, феминистка,

литературовед Б. Хелдт, – воспоминания женщин, которые не сделали общественной карьеры и не были связаны с социально-значимыми мужчинами, практически не известны, не выделены в архивах и не учтены в библиотеках...»³⁸.

Однако часть женщин, все же связанных с «социально-значимыми мужчинами», оставили нам свои жизнеописания. Среди них – образованных русских дворянок «осмнадцатого, просвещенного» столетия – вряд ли сыскалось бы много таких, кто читал, а тем более вчитывался в «Исповедь» Руссо. (Хотя нам доподлинно известно, что французский язык как основной иностранный во второй половине столетия окончательно вытеснил немецкий³⁹.) Сомнительно, что многим читающим россиянкам попадалась в руки и автобиография лидера староверов. Это позволяет предположить, что женская автобиография в России родилась, повинаясь не столько внешним, подражательным, сколько внутренним, имманентным факторам.

Никто не звал русских женщин «к перу» и самовыражению. Новорожденная возможность женского взгляда на собственное положение была эпифеноменом культурных процессов рассматриваемого времени⁴⁰, которые и позволили перевести «молчаливое страдание» в дискурс. К внутрироссийским доминантам, определившим культурное поле XVIII столетия, можно отнести и «обмирщение» культуры и литературы на пороге петровского времени, и индивидуализацию сознания, открывшую для привилегированных, образованных классов «золотой век частной жизни»⁴¹. Так что женщины создали свои первые автобиографические творения, повинаясь неотрелектированным (ментальным) побудительным мотивам, которые были инспирированы внутренним содержанием эпохи, ее контекстом. И неудивительно, что именно в послепетровскую (елизаветинскую, екатерининскую) эпоху в России возникла женская литература, т.е. были опубликованы произведения, написанные женщинами, на «женские» темы, отобразившие мир женских чувств и переживаний.

Женская автобиографическая проза возникла вместе с женской же литературой, и литературная (а не документально-историческая) составляющая в женских автобиографиях в России была изначально необыкновенно сильна. В отличие от «мужской» и, кстати сказать, общей западноевропейской тенденции в развитии автобиографического жанра, где авторские жизнеописания более походили на «квазидемонстрационный, официально-публичный портрет»⁴², женская автобиография в России была с самого начала иной. Ее лицо определила, во-первых, большая эмоциональная насыщенность и, во-вторых, стремительное развитие функции творческого воображения. Оно было настолько мощным, что оказалось способным оказывать неявное сопротивление репрессивным структурам «мужской», маскулинизированной культуры (какой была русская культура XVIII–XIX вв.) и утверждать право женщины не только на бытописание, но и на «дописывание» быта, «дорисовывание» жизни, «доведение до экстремума» чувствований через их пространную рефлексию, через яркое, а порой и страстное переживание при записывании. Лишь несколькими десятилетиями (если не столетием) позже возникла общая для женского письма тема угнетения, социального и символического подчинения доминирующему, ставшая ключевой метафорой в дискурсе русского и вообще европейского феминизма.

В «дописывании» стоит видеть не столько фантазии и явные домыслы (впрочем, в женских эго-документах и их, попавших туда под видом «слухов», немало!), сколько стремление женщин воссоздавать в автобиографиях свой эмоциональный «автопортрет» искренне и одновременно (это парадоксально!) самокомплиментарно. Обнаруживая в ранних женских автобиографиях давно известные педагогической антропологии три сферы внутреннего процесса взросления, развития личности: интеллектуально-познавательную (рациональную), мотивационно-ценностную (эмоциональную) и нравственно-практическую (волевою)⁴³, мы не можем не признать, что в рассматриваемых нами текстах первая сфера (рациональная) выражена меньше двух других (эмоциональной и нравственно-практической). *Личные истории*, рассказанные более логично и последовательно, чем реально прожитые жизни, в *тексте автобиографий большинства женщин* выглядели более эмоционально насыщенными, чем аналогичные

и современные им *мужские автобиографии*. Вполне возможно, что и сама жизнь женщины именно этим отличалась от жизни мужчин.

Сказанное выше применимо к «Своеручным запискам» Натальи Долгоруковой (первой женской автобиографии, созданной в середине XVIII столетия). Таковы и написанные с автобиографическим уклоном, хотя и несколько позже, «Воспоминания» А.Е. Лабзиной, мемуары В.Н. Головиной и Е.А. Сабанеевой, Е.Н. Львовой и С.В. Скалон. Даже жизнеописания Екатерины II или, например, Надежды Дуровой («Кавалерист-девица», «Автобиография»), хотя и очень напоминают мужские тексты, в плане эмоциональности являются от начала до конца женскими⁴⁴.

Как самоощущают себя женщины-авторы автобиографий, какими способами репрезентировали и репрезентируют свое «Я»? Маркируется в их сообщениях (устных, письменных) их «Я» как женское и что являла и являет собой женская идентичность в прошлом и настоящем? Каковы границы «допустимого» в женских самопризнаниях (какие темы запретные) и насколько эти запреты артикулируются в текстах, написанных женщинами? Как женщины-авторы воспоминаний, автобиографий мотивировали свое право «говорения» в прошлом и насколько эта мотивация совпадает/не совпадает с настоящей? Насколько женщина-автор текста о самой себе следует (и следовала) социокультурным образцам, социокультурным конвенциям (т.е. продолжают ли они поддерживать своим письмом конвенциональные акты)? Способны ли женщины более, чем мужчины, нарушать социокультурные табу, и если «да», то в каких случаях (в каких случаях тексты, написанные женщинами, превращаются в «женское письмо»)? Все это темы, которые еще предстоит исследовать.

Примечания

¹ Подробнее см.: Кирилина А.В. Гендерные стереотипы, речевое общение и пол говорящего // Женщина в российском обществе. 1999. № 2. С. 27–46.

² Lakoff R. Language and Woman's Place. N.Y., 1973.

³ Trömel-Plotz S. Linguistik und Frauensprache // Linguistische Berichte. 1978. V. 57. S. 49–68.

⁴ Samel J. Einführung in die feministische Sprachwissenschaft. В., 1995; Baron B. Die Inszenierung des Geschlechterverhältnisse im akademischen Streitgespräch // Jahrbuch Arbet. Bildung. Kultur. 1996. Bd.14. S. 69–80.

⁵ Подробнее см.: Пушкарёва Н.Л. История женщин и гендерный подход к анализу прошлого в контексте проблем социальной истории // Социальная история 1997. М., 1998; *ее же*. Гендерный подход в исторических науках: рождение, методы, перспективы // Женщина. Гендер. Культура. М., 1999. С. 14–28; *ее же*. Зачем он нужен. Этот гендер? // Социальная история 1998/1999. М., 1999. С. 155–177; *ее же*. Гендерная методология в истории // Гендерная методология в общественных науках. Харьков, 2000.

⁶ Maltz D., Borker R. Cultural Approach to Male-Female Miskommunikation // Language and Social Identity. Cambridge, 1982.

⁷ Подробнее об этом см.: Coats J. Women, men and language. A sociolinguistic account of sex differences in language. N.Y., 1986.

⁸ Kothoff H. Geschlecht als Interaktionsritual? // Gechlecht als Interaktionsritual. Frankfurt-am-Main ; New York, 1994. S. 159–194.

⁹ Земская Е.А., Китайгородская М.А., Розанова Н.Н. Особенности мужской и женской речи // Русский язык в его функционировании. М., 1993. С. 90–136.

¹⁰ Doleschal U., Schmidt S. The de/construction of gender roles in Russian // (De)Construction of Gender Across Languages. Amsterdam, 1999.

¹¹ Верхоланцева Н.Ф. Из наблюдений над использованием просторечной лексики мужчинами/женщинами – носителями русского литературного языка // Живое слово в русской речи Прикамья. Пермь, 1989. С. 83–89; Киуру К.В. Гендерный аспект анализа прагматических стереотипов в речевом поведении референта как профессионального коммуникатора // Гендер: язык, культура, коммуникация: Матер. первой междунар. конф. 25–36 ноября 1999 г. М., 1999. С. 55.

¹² Горошко Е.И. Анализ особенности мужского и женского вербального поведения. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1996. С. 21.

¹³ Hellinger M. Zum Gebrauch weiblicher Berufszeichnungen im Deutschen // Linguistische Berichte. 1980. № 69. S. 37–57.

¹⁴ Подробнее об этой книге и значимости теории Ж. Дерриды для историков см.: Вайнштейн О.Б. Деррида и Платон: деконструкция Логоса // Мировое древо. М., 1992. С. 51–63.

¹⁵ О сущности и значении философии Ж. Дерриды см.: *Подорога В.* Человек без кожи // Философия по краям. Ежегодник лаборатории постклассических исследований Ин-та философии РАН. М., 1996. С. 3–10.

¹⁶ *Мухлынина Н.Л.* Дискурс и субъект: иллюзии самовыражения пола в феминистской и патриархатной антропологии. Автореф. дис. ... канд. филос. наук. Екатеринбург, 1996. С. 19; *Ильин И.* Постмодернизм от истоков до конца столетия. М., 1998. С. 147.

¹⁷ *Kristeva J.* Polilogue. P., 1977. P. 20–21.

¹⁸ *Cixous H.* Castration or Decapitation // *Signs*. 1981. V. 7 (Autumn). P. 450; *Irigaray L.* When Our Lips Speak Together // *Women's Voices*. N.Y., 1990. P. 496–504.

¹⁹ *Cixous H.* The Laugh of the Medusa // *Women's Voices*. N.Y., 1990. P. 486.

²⁰ *Trudgill P.* Sociolinguistics. L., 1975; *Вул С.М., Мартынюк А.П.* Теоретические предпосылки диагностирования половой принадлежности автора документа // Современное состояние и перспективы развития традиционных видов криминалистической экспертизы. М., 1987. С. 105–111.

²¹ *Lakoff R.* Language and Woman's Place. N.Y., 1975.

²² *Irigaray L.* Op. cit. P. 503.

²³ Феминистки особо подчеркивают ведущую роль самого индивида, а не социальных институций в процессе doing gender (*Butler J.* Körper von Gewicht. Die discursiven Grenzen des Geschlechtes. Frankfurt-am-Main, 1995) и утверждают тем самым, что гендер является управляемым свойством человеческого поведения.

²⁴ *Kollodny A.* Reply to Commentaries: Women's Writers, Literary Historians and Martian Readers. V. II. № 3. Charlottesville. 1980. P. 588.

²⁵ *Cixous H.* Castration... P. 481.

²⁶ Первыми о «женскости» этих тем заговорили психологи десятилетие назад. См.: *Belenky N., Clinchy B., Goldberger M., Tarule J.* Women's Way of Knowing. N.Y., 1986.

²⁷ Термин Арьи Розенхольм. См.: *Розенхольм А.* Пишу себя: творчество и женщина-автор // Современная философия. № 1. Харьков, 1996. С. 182–183.

²⁸ *Showalter E.A.* A Literature of Their Own. Princeton, 1977. P. 12.

²⁹ Подробнее см.: *Ушакин С.* После модерна: язык власти или власть языка // Обществ. науки и современность. 1996. № 5.

³⁰ Российские феминистки не устают подчеркивать, что их цель – не борьба с избытком мужского начала и его доминированием в культуре, а «скорее восстановление мужского через культивирование отчетливо женского» (*Поляков Л.* Женская эмансипация и теология пола в России XIX в. // Феминизм: Восток. Запад. Россия. М., 1993. С. 159).

³¹ Тезис Л. Пуш. См.: *Push L.* Alle Menschen werden Schwestern. Frankfurt-am-Main, 1990.

³² *Подольская И.И.* «Минувшее проходит предо мною...» // Русские мемуары. Избранные страницы. XVIII век. М., 1988. С. 7.

³³ *Здравомыслова Е.А.* Методологические проблемы биографического метода // Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ. СПб., 1997. С. 3.

³⁴ *Pushkareva N.* Women in Russian History from the Tenth to the Twentieth Century. N.Y., 1997.

³⁵ *Misch G.* Geschichte der Autobiographie. Bern; Frankfurt-am-Main, 1969.

³⁶ *Пушкарева Н.Л.* Частная жизнь женщины в доиндустриальной России X – начала XIX в.: невеста, жена, любовница. М., 1997. С. 8.

³⁷ *Мишельна В.А.* Автобиография // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 152; *Кошелева О.Е.* Автобиография в свете педагогической антропологии // Природа ребенка в зеркале автобиографии. Учебное пособие по педагогической антропологии. М., 1998. С. 16, 19.

³⁸ *Heldt B.* Terrible Perfection. Women and Literature in Russia. Bloomington. 1987. P. 64.

³⁹ *Pushkareva N.* Op. cit. 1997. P. 166–168.

⁴⁰ *Козлова Н.Н.* Гендер и вхождение в модерн // Обществ. науки и современность. 1999. № 5. С. 166.

⁴¹ *Perrot M.* Introduction // A History of Private Life. V. IV. From the Fires of Revolution to the Great War. Harvard, 1987. P. 3–5.

⁴² *Revel J.* Forms of Privatisation // History of Private Life. V. III. Harvard, 1989. P. 329.

⁴³ *Burnet J.* «Destiny Obscure». Autobiographies of Childhood, Education and Family from the 1820s to the 1920s. L.: N.Y., 1994.

⁴⁴ Ссылки на опубликованные варианты женских автобиографий (их около 50) см.: *Пушкарева Н.Л.* Частная жизнь... С. 340–349.

N.L. P u s h k a r e v a. Gender linguistics and historical sciences

This article is devoted to the description of methods and approaches of gender linguistics and demonstrates their applicability for analyzing the phenomenon of «women's writing» and «women's reading» styles in the context of studying the specific traits of texts written by women. The article demonstrates possibilities of using the theory of interlects in studying autobiographic narratives.